

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

И

РЕДКОЛЛЕГИИ В СОСТАВЕ
С. Д. БАЛУХАТОГО, Е. Д. ЗОЗУЛИ,
М. Е. КОЛЬЦОВА и Г. Б. САНДОМИРСКОГО

ТОМ XI

*ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „ОГОНЕК“
ЗА 1929 ГОД*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1929 — ЛЕНИНГРАД

ЧЕХОВ И КАТОРГА.

„Крутом вода, посредине — беда“

(В. Г. Короленко — „Соколинск“).

„Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой“.

(А. П. Чехов. „Остров Сахалин“).

Среди огромного, неумирающего литературного наследия А. П. Чехова, его «Остров Сахалин» стоит совершенно особняком. Это относится как к объему самого произведения, так и к его форме и содержанию.

«Сахалин» — единственное крупное произведение этого великого мастера по преимуществу маленьких, филигранных рассказов и повестей или коротких драматических эпопей.

Вместе с тем, «Остров Сахалин» — единственное произведение Чехова, которое не может быть целиком отнесено к числу художественных, хотя, конечно, ни один статистик, ни один публицист, ни один врач (и, если даже предположить, что Чехов во время своего путешествия на каторгу соединял в себе все эти три качества сразу) — ни вместе, ни порознь, не могли бы похвалиться тем потрясающим впечатлением, которое оставляют отдельные художественные фрагменты этого «исследования».

Исключительное значение имеет «Остров Сахалин» и в том споре, который с новой силой разгорелся, в связи с 25-летием со дня смерти Чехова, вокруг его политического мирозерцания. Уж если кто из современных литературоведов, прочитав «Остров Сахалин», будет продолжать мудрить на тему о том, что Чехов занимал по отношению к самодержавию позицию чуть ли не благожелательного нейтралитета, — это будет только продуктом его собственного недомыслия и, м. б., большим личным несчастьем, — ибо, наряду с «Записками из мертвого дома» Достоевского, «Отверженными» Мельшина и аналогичными произведениями других мастеров русского художественного слова,

«Остров Сахалин» был и остается одним из наиболее красноречивых обвинительных актов, направленных против столь же жестокой, сколь и тупой, недаленовидной политики русского царизма.

Свое многотрудное (без всяких рекомендательных писем и без всяких напутствий со стороны какого бы то ни было начальства) путешествие на о-в Сахалин Антон Павлович предпринял 5-ю годами позже того, как В. Г. Короленко обогатил нашу художественную литературу своим «Соколиным». Достаточно вспомнить параллель, проводимую Короленко в этом произведении между душевным настроением забредшего в его юрту бывшего сахалинского бродяги и собственными переживаниями политического ссыльного, чтобы понять, какой живой отклик должен был, независимо от своих художественных достоинств, вызвать этот очерк в тех кругах тогдашнего русского общества, взоры которых были обращены в безбрежную сибирскую даль, где в суровых объятиях тайги и тундры изнемогали политические борцы.

Но надо признать, что, — при всех тех реалистических тонах, в которых дано в «Соколином» описание горемычного житья-бытья сахалинского бродяги, — вещь эта в целом все же остается оваянной дымкой некоторого романтизма, местами придающего этому бытию оттенок поэтически-приключенческий.

«Соколин», «Соколиный остров» — все это пробуждало в тогдашнем читателе образ вольного сокола, только на время залетевшего в железную клетку, но затем расправляющего могучие крылья и победоносно вырывающегося на свободу. (Недаром, у Короленко партия в одиннадцать сахалинских каторжан, даже застигнутая вооруженным конвоем, выходит победителем из необычайно-трудного побега, организованного с чисто-романтической беспечностью.)

Для Чехова наш отечественный «Чортов остров» уже перестает быть «Соколиным островом» — символом бродяжьей смелости и молодечества, — а Сахалином, — первым опытным полем доморощенной колониально-исправительной политики русского империализма, проклятым местом мучительства и беспрельного издевательства над бесправной человеческой личностью. Последние ризы обветшалого романтизма совлекаются Чеховым с этой безотрадной картины, наполняющей душу леденящим ужасом. В изображении Чехова Сахалин представляется девятым кругом Дантова ада, из которого исхода нет никому.

Поистине, человек, отправляющийся в это проклятое место даже по собственной воле, должен оставить всякую надежду увидеть хоть маленький проблеск в той злобещей картине, которую являет собой Сахалин. Сама природа окружила остров этой непроницаемой завесой, — и Чехов, со свойственным ему мастерством, передает это жуткое впечатление оторванности от всего мира, которое овладевает человеком, только приблизившимся на пароходе к сахалинским берегам и не успевшим еще сойти на его каменистую почву.

Чувство безнадежной отчужденности от далекой родины усугубляется специфическими особенностями сахалинского климата, флоры и фауны, всем строем здешней «жизни», столь разнящейся от той, которая оставлена там, на далеких равнинах Европейской России. И, когда перечитываешь великолепные страницы «Сахалина», на которых тончайший знаток человеческой души дает жуткую личную трагедию этих «каторжан», заброшенных на проклятый остров всем сложным переплетом социально-бытовых и политических условий царизма, вы ясно видите, что под их арестантским халатом бьется и изнывает в смертной тоске сердце бесхитростного и далеко не порочного трудового человека. И тогда бывает трудно определить, — от чего больше страдает этот человек — от жестокой и бессмысленной системы его «исправления» или от этой самой оторванности от привычной, трудовой жизни, которая одна только и может вернуть человека на правильный путь.

Но описание лирических переживаний каторжан и поселенцев не составляло единственной задачи, которую поставил перед собой Чехов. Он знал, что в мрачной эпохее царизма Сахалин является самой жестокой и темной страницей. Кто — по своему возрасту — может перенестись в ту злобещую эпоху, тот в личной памяти воскресит нетускнеющие рассказы об ужасах, связанных с этими 50-дневными путешествиями несчастных, подневольных людей на пароходах «Добровольного флота» в царство самодержавного Аида, где они оказывались в полном распоряжении безответственных палачей.

Чехов знал это и — по всей вероятности — не питал никаких иллюзий, отправляясь в свое путешествие. Но, со свойственной ему исключительной добросовестностью, он хотел сам, на месте, унать, изучить все, до незаметных для других мелочей, дать полную картину этого жуткого царства — не только Рос-

сии, но и Европе. Его добросовестность и истинно-демократическая натура не позволили ему исплотить себе командировку служебного характера или добыть себе «ходы» к влиятельным лицам, и он отправился на Сахалин рядовым журналистом, не имея даже поручения от определенной редакции.

Объективность требует сказать, что это удалось Чехову лишь наполовину. В то рабье время журналист или доктор, — в особенности, на этом каторжном острове, — независимо от рекомендательных писем, — был «их благородием», перед которым бесправный человек не особенно охотно раскрывает свою душу. Великий талант Чехова, его необычайная чуткость и проникновенность и сказываются, во-первых, в том, что титул «их благородия» не заслонил от него всего того, что ему нужно было увидеть, что администрация никакими «бенгальскими огнями» его обмануть не смогла, и во-вторых, в том, что он за сравнительно короткое время сумел сродниться с «миром отверженных», проникнуть во все его чаяния и переживания.

Да, треск фейерверков, зажигаемых в честь начальства, не сумел заглушить для Чехова воплей истязуемых и пытаемых людей. Звериный лик сахалинского начальства, лишь выполнявшего волю петербургских сатрапов, встал перед великим художником во всей своей безобразной наготе, и он запечатлел его на своих страницах.

С неменьшим мастерством Чехов отобразил всю беспомощность, тупость бессмысленность и экономическую убыточность тогдашней политики российского империализма. И, если местами от его добросовестных и кропотливых статистико-экономических выкладок и страдает художественная ценность «Сахалина», зато обвинительный акт, брошенный Чеховым в лицо русскому самодержавию, выигрывает в своей полноте и убедительности.

Но «мир отверженных» — не все, что увидел Чехов на Сахалине. Он встретился здесь со своими заклятыми врагами — тупой, жестокой и малограмотной чиновной «интеллигенцией». Это ее руками царизм творил свои кровавые дела. Какую прекрасную галерею самодуров, доносчиков, вятчичиков и домопрощенных плантаторов он дает из этой среды! Портреты этих героев, хотя и набросанные беглыми и скупыми мазками, по живости своей и изобразительности, нисколько не уступают основным героям его лучших художественных произведений.

Конечно, Чехов местами и в «Сахалине» отдает дань своему времени. Он изредка пытается отыскать благородные «исключения» среди высшей и средней сахалинской администрации, в одном месте сетует на то, что арестанту не дают сосредоточиться в молитве, которая могла бы облегчить его душевное настроение. Но в большом, великолепном полотне «Сахалина» это — едва заметные штрихи. И, затем, не надо никогда забывать, что «все мы велики, лишь становясь на плечи своих предков».

Дань, отданная Чеховым предрассудкам той эпохи, не умаляет огромного значения этого обвинительного акта, брошенного самодержавию великим художником. И «Сахалин» в корне, конечно, разрушает легенду об «аполитичности» Чехова, столь неудачно воскрешаемую в наши дни.

Герм. Сандемирский.